

РАССКАЗЫ

НЕ ПЕРЕПЛУТЬ

Уилл звонит около часа ночи, перепугав меня чуть ли не до смерти. Я пару секунд смотрю на телефонную трубку, потом наконец-то беру. Уилл пыхтит и кричит, тараторит что-то невнятное. С ним всегда так. Мы не очень хорошо друг друга знаем, вживую виделись от силы раза три, да и то когда это было? В прошлой жизни, почти десять лет назад, когда он приезжал (крайне редко) проводить свою престарелую тетю в дом, в котором она нас с мужем приютила.

— Тетушка, — хрипит он в трубку. — Тетушка, — повторяет снова и снова, всхлипывает и дышит шумно. Я поначалу даже думаю, что он ошибся номером.

— Уильям, — зову я его спокойно, — выдохни и скажи нормально, что произошло.

— А ты не понимаешь?! Моя милая тетя... Она умерла.

Я молчу, сажусь на пол у тумбочки, на которой стоит телефон, смотрю на себя в зеркало и словно себя же спрашиваю:

— Он знает?

— Знает, — хмыкает Уилл. — А ты не хочешь выразить соболезнования?

— Соболезную. Тебе и твоему брату, — почти шепчу я.

— Приезжай завтра, нужно решить все насчет похорон, я не хочу привлекать лишних людей, могу доверять лишь вам. — Я собираюсь ответить ему, сказать, что я никуда не поеду, что я для их семьи, кажется, уже — дело давно минувших дней, но он, на прощание прокричав: — Адрес все тот же, — бросает трубку.

Я так и остаюсь сидеть на полу в прихожей у тумбочки, так и смотрю на себя в зеркало, так и вижу, как пять лет назад (подсознание подсказывает: «Почти шесть») эта самая «тетушка» стала причиной того, что я теперь дело давно минувших дней, что я, как бы мне ни хотелось забыть адрес ее дома, не могу этого сделать.

Я включаю по всей квартире свет — страшно. Прекрасно зная, какой была «тетушка» при жизни, можно и после смерти ожидать от нее всего чего угодно. Пока кофемашина гудит и рычит, я включаю компьютер, отправляю пару электронных писем и проговариваю себе под нос все дела, которые придется отложить на пару дней, я проговариваю все то, что предстоит сделать в Эдинбурге, потому что Уилл точно, совершенно точно скинет все дела и всю ответственность за похороны на нас.

Первый поезд из Лондона в Эдинбург отправляется в четыре утра, я стою на перроне уже в три пятнадцать, стараясь ни о чем не думать, стараясь просто дышать — ни больше ни меньше. Можно было бы уехать на машине, на автобусе, в конце концов, можно было бы улететь на самолете, но на поезде добираться дольше всего, почти семь часов. В поезде есть время морально приготовить себя к тому, что спустя пять

Дарья Владимировна Осолодкина родилась в 1995 году в г.Череповце. Окончила Череповецкий государственный университет, кафедру германской филологии и межкультурной коммуникации, направление — лингвистика. Бакалавр, лингвист-переводчик. Автор сборника рассказов «Напротив» (Екатеринбург: ООО «Издательские решения», 2022). Живет в Череповце.

лет перед глазами снова расцветет Эдинбург, где здания из темно-красного кирпича тянутся друг за другом бесконечными коридорами-стенами, где здания, мокрые от дождя, тянутся к тяжелому небу черными шпилями, блестящими крышами. Первый поезд из Лондона в Эдинбург отправляется в четыре утра, за мерным стуком колес остается сонный вокзал, сонный город, над которым медленно зреет рассвет, за мерным стуком колес остаются все за и против этой поездки.

В вагоне полно людей, за окном предрассветный синий выгорает в прозрачность подступающего утра, я смотрю на проносящийся мимо город, пригород, поля и леса, мелькающие деревушки, станции со знакомыми и не очень названиями. Я стараюсь не думать, но получается из рук вон плохо. Зачем я еду? Зачем снова наступаю на одни и те же грабли? Неужели Уиллу, кроме меня, некому было позвонить? Неужели придется снова заходить в тот дом? Неужели мы с ним, с тем, казалось бы, забытым человеком, не Уиллом, а его братом, снова встретимся со всеми нашими кошмарами, страхами, негодованиями, раздражениями? Зачем я еду? Чтобы отдать дань уважения той, которая явилась причиной огромного количества проблем? Нет или да? Ее больше нет, и червь жалостливости точит и точит изнутри. Она была стара, она была больна, а мы бросили ее тогда, уехали, вырвались из-под гнета ее недуга, тараканов, странного поведения. Уилл как-то сказал, что наши общие недостатки — излишняя доброта (если доброта может быть излишней) и жалостливость — и он, наверное, был абсолютно прав. Зачем я еду? Чтобы еще раз пройтись по второму этажу того старого дома, залезть на чердак? Чтобы вспомнить не плохое, но хорошее, что было в этом самом доме, в этом самом городе? Чтобы увидеть его, забытого ли? Определенно, да.

Эдинбург встречает дождливым полднем, ворчащим Уиллом на красном «фордике», который всю дорогу до дома рассказывает, как тете стало плохо пару дней назад, как он отвез ее в больницу («Впервые за всю свою жизнь проявил хоть какую-то заботу о ней», — думаю я про себя, смотря на него в зеркало заднего вида), как долгими часами сидел у ее постели (тут он даже всхлипывает), а потом ее не стало, и он весь извелся.

— Очень жаль, — проговариваю я. Я не знаю, как вести себя в таких ситуациях, я теряюсь в горе, особенно если оно больше чужое, чем мое, тем более если оно такое наигранное. Уилл сетует на погоду, сетует на свою жену, сетует на светофоры и на все на свете — в нем ничего не меняется.

В клумбах залитые, раскисшие цветы, потерявшие всю свою красоту. Уилл заходит в дом, в нем все так же пахнет еле заметно сладостью, ванилью, имбирем и гвоздикой: у тети всегда на кухне в вазочке стояло печенье, мы покупали ей его в пекарне неподалеку каждый вечер, утром она пила чай в одиночестве на крыльце, пристроив вазочку между цветочными горшками на скамейке. Она развлекалась тем, что часами могла наблюдать за прохожими и играющими соседскими ребятишками. Мы называли ее дом пряничным домиком ведьмы, как в «Гензель и Гретель», мы сами тогда были Гензелем и Гретель — детьми из глухой лесной чащи, которым нужны были помощь и поддержка, которым нужно было где-то осесть и набраться сил.

Я слышу его голос, доносящийся со второго этажа, я слышу звук его шагов. Еле ощутимо пахнет его горьковатым, «холодным» парфюмом — он у нас был один на двоих, на мне он «выгорал» теплыми цветочными нотами и сандалом, а на нем казался прохладным и терпким. Он говорит по телефону, ходит кругами по комнате, то и дело подтягивая за собой телефонный провод. Я стою в дверях, поставив свою небольшую сумку на пол, наблюдаю, как он машет свободной от трубки рукой, объясняет кому-то по телефону, что кремация ему нужна уже завтра, так, словно человек стоит прямо перед ним. Он встает напротив окна, опускает голову и левую руку прячет в кармане джинсов. Он пару секунд молчит, а потом говорит: «Отлично, спаси-

бо!»), кладет трубку и резко разворачивается, натывается на меня взглядом и пару раз моргает. Я вроде как виновато улыбаюсь:

— Привет.

Он кивает.

— Надо же, ты теперь похож на зрителя заброшенного маяка, еще бы шапку такую, знаешь, темно-синюю и куда-нибудь в Кельтское море, — я киваю на его бороду, а потом смотрю на свои ноги, руки и сумку на полу, лишь бы не смотреть на него.

— Я куплю, — шепчет он вдруг.

— Что? — я снова смотрю на него, он улыбается.

— Темно-синюю шапку я обязательно куплю. — Я смеюсь, а он ставит телефон на спинку дивана, перешагивает провод и берет мою сумку. — Второй этаж наш... снова. Я тебе все приготовил в спальне, сам займу гостиную, о'кей?

— Как скажешь. Ты как? — спрашиваю я, когда мы заходим в спальню, он устраивает сумку на комод и пожимает плечами:

— В данной ситуации или вообще?

— В данной, — киваю я. — И вообще.

Он улыбается и молчит, а потом выдает:

— Я не знаю... Как-то неопределенно, вроде что-то и чувствую, а что это такое, понять не могу. А ты?

— И я не знаю.

— Вирджиния, жена моего дорогого брата, — он говорит это, стараясь подражать манере Уилла, — испекла тех самых печенюц, как тетушка любила...

— Он называет это «печенюца»? — Он важно кивает.

— К чаю, а еще у нас практически традиционный британский завтрак, потому что Уилл обожает всю эту белиберду типа чая с молоком, бекона с золотистой корочкой. Мне кажется, он женился на Джинни, только чтобы держать ее за кухарку и не платить при этом.

— Что ты знаешь о любви... к традиционному завтраку?! — смеюсь я.

Уилл и Вирджиния заняли первый этаж. Когда мы спустились, Уилл разливал по чашкам чай, а его жена стояла у плиты. С Джинни мы не были знакомы, она оказалась невысокой брюнеткой с большими темными глазами, она говорила спокойно, спокойно же перебивала Уилла, положив руку на его руку, когда его начинало заносить. Мне вообще показалось удивительным, что такая милая женщина вышла замуж за такого зануду, который все время кряхтит, что-то бубнит себе под нос и к тому же вечно всем недоволен.

Джинни спрашивает мужа, позвонил ли он остальным родственникам.

— Конечно, нет, — закатывает глаза Уилл. — У тети, кроме нас, никого не было.

— А ваши родители не приедут? — спрашиваю я, Уилл только отмахивается:

— Я не стал их тревожить, сказал, что все возьму на себя.

— Зато я их потревожил, а еще дядю и соседку из дома напротив, с которой тетя общалась. Родители не смогут приехать: непогода, дорога долгая, тем более платная трасса на ремонте, а с пересадками на поезде — это не для них, а дядя приедет завтра к полудню...

— Только не говори, что с ним приедут еще и его дети, — раздраженно стучит кончиком вилки по столу Уилл.

— Может, и приедут, я не знаю, я пригласил их всех. Соседка придет утром, мы возьмем ее с собой в крематорий.

Уилл на это цокает языком:

— Ну кто тебя просил!?

— Я решил, что все нужно сделать по-человечески. Я нашел записную книжку, кстати, там еще пара номеров и пара имен, можно и им позвонить, оповестить, пригласить.

— Ты хочешь, чтобы в дом набилась куча народу?

— Перестань, — говорю я. — То, что он говорит, действительно правильно, нужно дать людям возможность попрощаться с ней, а ей — попрощаться со знакомыми и родственниками.

— Ах, ну да, ты же всегда на его стороне. — Джинни пинает Уилла под столом ногой и смотрит многозначительно, тот немного успокаивается.

— Разделим обязанности, — предлагает несостоявшийся смотритель заброшенного маяка. — Мы, — он указывает на себя и меня, — обзваниваем оставшихся знакомых из записной книжки, а потом едем в крематорий, чтобы приготовить и купить все для завтра, Джинни будет готовить, а на подмогу ей ты, Уилл и соседка, она говорила, что поможет. Думаю, гостей человек десять точно наберется.

— А почему не арендовать ресторан? Кафе? Зачем тащить всех домой? — Уилл скидывает грязные тарелки в раковину.

— Ты можешь, конечно, поискать ресторан или кафе, но сегодня пятница, завтра — выходной, день, когда все планируют дни рождения, свадьбы и поминки тоже, тем более мы с Джинни обсуждали этот вопрос.

Вирджиния кивает:

— Мне будет только в радость.

— Я могу поехать с тобой в крематорий, — предлагает Уилл, перспектива топтаться на кухне его явно не прельщает.

— Нет-нет, — говорю я. — Мне нужно на кладбище, когда еще туда попаду, чтобы навестить деда?

— Завтра и попадешь, — ворчит Уилл.

Я качаю головой:

— Завтра явно будет не до этого.

Мы уходим на второй этаж подальше от зануды Уилла, слышно, как он гремит тарелками в раковине, продолжает причитать.

— Как долбаный полтергейст, — вздыхает он, снимая телефонную трубку и открывая старую записную книжку.

Гостей набирается, как он и говорил, без нас — десять человек, уходя из дома, мы говорим об этом Вирджинии, которая составляет список покупок. На улице продолжает лить дождь, пока мы бежим до машины без зонта, куртки промокают насквозь. Из Старого Города до крематория по пустым дорогам полтора часа езды, но город стоит, собственно, как и выезд в пригород. Мы заперты под дождем в машине с шипящим радио и тяжелой тишиной, я даже думаю, смотря сквозь залитое окно, пусть бы ехал Уилл, можно было бы остаться с Джинни, дойти до магазина и пусть даже промокнуть до нитки и замерзнуть, пусть тащить тяжелые пакеты, но хоть на душе не скребли бы кошки. Он молчит, сосредоточенно наблюдает за дворниками, отстукивает по рулю ритм песни по радио. Каждые выходные мы сбегали за город, садились на автобус или добирались на метро, а потом гуляли и гуляли, навещали моего деда на кладбище, а потом через поле спускались в деревню, где до самого заката сидели в одном пабе и болтали. Домой не хотелось совершенно.

Мы трогаемся с места, наконец выезжаем на трассу. Он молчит, молчу и я. Дома было как-то проще, был тот же Уилл, с которым препираться — развлечение, была Джинни, а один на один в замкнутом пространстве тяжело. Я не знаю, что сказать, он, вероятно, тоже, раньше с нами такого не было, раньше мы бы и представить себе не смогли, что расстанемся на такой долгий срок.

— Я нашел у нее в комнате нашу фотографию, стоит прямо на прикроватной тумбочке, прислоненная ко всем этим ее фигуркам, помнишь, она собирала всяких девочек и мальчиков с цветами из фарфора и стекла?

— Помню.

— А фото... В общем, фото с нашей свадьбы.

— Единственное и неповторимое. А мы думали, что потеряли его, — хмыкаю я.

— Все тогда обыскали, — вздыхает он. — Уилл еще нашел коробку под кроватью с нашими вещами: пластинка, помнишь, дед тебе подарил, твой серебряный браслет, мой свитер, любимый в полоску — в общем, все то, что благополучно и не очень благополучно пропадало у нас, все то, что мы искали, все то, из-за чего иногда ссорились.

— Ну мы же знали, что она ходит к нам, пока нас нет дома.

Он кивает:

— А еще ночами стучит по батареям, орет, истерит, периодически вызывает полицию, если вдруг ей покажется, что мы решили ее отравить или задушить.

— Она была больна. Твои родители же и попросили нас пожить у нее, присмотреть за ней.

— Помучить нас, — фыркает он.

— Ну пришлось совмещать приятное с полезным, — пожимаю я плечами, он улыбается.

Мы паркуемся у часовни — белые стены, острые и холодные, с высокими стрельчатыми окнами, из окон льется мягкий золотой свет, подрагивает пламя свечей с подсвечников на подоконниках. Часовня и чуть поодаль здание крематория с колумбарием — часть старого кладбища, где могилы жмутся друг к другу мокрыми покосенными плитами. Мы добегаем до здания крематория под одним зонтом, найденным в бардачке, нас встречает молодая девушка, составляющая букет из живых цветов. Словно мы не в крематорий пришли, а в цветочный магазин. Девушка ставит цветы в массивную вазу, садится за стол и открывает одну из толстых папок.

— Документы у вас не все, так? — Он кивает, я киваю тоже, хотя вообще без понятия, что у нас с собой есть, а чего нет. — Завтра сможете привезти недостающие? — спрашивает она, достает из папки какие-то бланки, подает ему, он отдает ей файл с документами. — Можно было и копии, — улыбается она, он ничего не отвечает, заполняет бумаги. — На завтра время есть только на половину пятого, самое последнее. Если вы повезете вашу родственницу из больницы Святой Марии, то с документами проблем не возникнет — они все делают вовремя, перед панихидой сможете их принести мне.

Он отдает ей заполненные бланки. Она снимает копии со всех документов, ставит какие-то печати:

— Что касается необходимых вещей для кремации...

— Все, что необходимо, на ваше усмотрение. — Девушка кивает, записывает что-то в одном из заполненных им бланков.

Мы проводим там чуть больше получаса со всеми бумагами, оплатой и прочим, а потом спускаемся к могиле моего деда. По выложенной камнем дорожке течет дождевая вода, земля мягкая, и мы еле пробираемся к нужной надгробной плите.

— Сеанс психотерапии объявляют открытым, — шепчет он, я улыбаюсь. Мы приходили к деду, чтобы рассказать о своих бедах и переживаниях, пожаловаться на жизнь, на тетку-ведьму из пряничного домика, а сегодня вроде бы и сказать нечего. — Я помню, как вы каждую неделю ходили на мой спектакль в эдинбургском театре. — Я киваю, и как-то сами собой на глаза наворачиваются слезы. — Мы так ждали его на нашей свадьбе, созванивались же с утра, а он умер в тот самый момент, когда мы выходили из церкви.

— Так бывает, — шепчу я. — С некоторыми людьми случается так, что они умирают в день рождения одного из родственников, кто-то умирает в чей-то день свадьбы, чтобы точно не забыли, чтобы вспомнили.

Дождь усиливается, мы возвращаемся к машине, снова включаем радио и выезжаем на трассу, а на подъезде к дому, встав на светофоре, он говорит: «С годовщиной нашей свадьбы» — и из внутреннего кармана куртки достает пухлую пачку писем, накопившуюся за пять лет: «Никак не решался отправить, но раз уж мы здесь с тобой вдвоем, только вдвоем, без тех людей, которые, возможно, есть в нашей новой жизни, то как-то так». Я забираю у него письма, а потом из рюкзака достаю пачку открыток, перевязанных лентой: «Я не знаю, собираешь ли ты их еще или нет, но каждый раз, когда мне на глаза попадались интересные экземпляры, невозможно было пройти мимо. Они не пустые». Сзади сигналят, мы трогаемся с места.

Дома все кипит в прямом и переносном смысле этого слова, с кухни на первом этаже доносятся голоса Вирджинии и соседки, а еще ворчание Уилла. Мы присоединяемся к ним и до самого вечера пропадем в готовке, препирательствах с Уиллом и историях, которые рассказывает наша соседка, присевшая на кресло в уголке у окна. Ближе к ночи мы провожаем ее домой, потом идем на свой второй этаж и разбредаемся по комнатам.

В спальне все осталось по-прежнему: два скрытых мутным тюлем окна, между ними — кресло, кровать у стены, комод с висящим над ним зеркалом, прикроватная тумбочка с высоким торшером на ней. Я достаю письма, они не давали покоя весь вечер. Слышно, как он все еще ходит по гостиной, слышно, как переговариваются Джинни и Уилл внизу, как разбивается о карнизы и оконные стекла дождевая вода.

«Дорогое сердце...» — так начинается каждое письмо. Раньше он всегда так меня называл, раньше он вообще много чего делал: пел в ванной, пока его тетка не начинала стучать клюшкой по потолку или батарее, придумывал истории про лучшую жизнь — однажды мы решили, что обязательно купим себе виллу в Италии, даже нарисовали ее во всех подробностях, правда, рисунок потом пропал, но, по крайней мере, сейчас мы знаем, что он может быть в коробке из-под кровати, которую нашел Уилл. Обо всем серьезном раньше он говорил исключительно шепотом, он читал вслух с чувством и с толком, а еще мог подойти вплотную, прижаться своей теплой щекой к моей и долго-долго так стоять и молчать. Я касаюсь рукой щеки. Удивительно, всего этого словно и не было в моей памяти, пока не возникло перед глазами «дорогое сердце», пока не возник перед глазами его почерк — крючки и петли, неровные строчки. Время — страшная вещь: тот, кто хочет что-то забыть, никак не может этого сделать даже спустя много лет, а тот, кто, наоборот, забывать ничего не хочет, хочет помнить как можно больше, постепенно утрачивает воспоминания и детали, которые раньше казались такими важными, хоть и вроде бы обычными. Я до рассвета читаю его письма, он тоже не спит — через щель под дверью видно, что у него все еще горит свет.

— Это будет очень долгий день, — говорит он вместо «доброе утро», когда я выхожу из спальни. Он прячет открытки в свою сумку с вещами, недолго смотрит в окно, а потом мы вместе спускаемся вниз.

Ближе к одиннадцати часам приезжает дядя (Уилл, увидев, что тот выходит из кеба один, говорит: «Слава богу», Вирджиния больно тычет его в бок локтем), телефон звонит беспрестанно: из-за погоды все те, кто вчера согласился прийти на похороны, сообщают, что не придут.

— Слава богу, — снова говорит Уилл, я наступаю ему на ногу. — Хватит меня избивать! — почти визжит он, а потом начинает ворчать по поводу того, что мы много вчера приготовили, много купили, зря только потратили силы, время и деньги, Джинни начинает с ним спорить.

Из больницы мы отправляемся в крематорий, с гробом едем вчетвером: я, смотритель маяка, Джинни и соседка, Уилл с дядей едет за нами на своем раритетном «фор-

дике». Отстаиваем панихиду, получаем урну с прахом, которую пристраиваем в колумбарии, и возвращаемся домой под дождем. Кремация переносится проще, чем традиционные похороны: нет всех этих процессов, нет опускания гроба в могилу. Когда хоронили деда, похороны были очень тяжелыми. Я все еще слышу, когда вспоминаю их, как защелкиваются замки гроба, как на крышку падает с лопаты земля, глухо, страшно. Я повожу плечами, смотритель маяка, теперь это приклеится к нему надолго, поворачивается ко мне и долго смотрит своими огромными голубыми глазами. Я мотаю головой, вроде как все хорошо. Сегодня проще: попрощались, постояли, пождали, получили урну с прахом, поставили на свое место в колумбарии и разошлись. Сегодня проще, потому что никакой особенной привязанности к тете никто из нас не чувствовал и не чувствует, разве что жалость: она всю жизнь была не от мира сего, а к старости все стало совсем плохо. Разве что жалость к самим себе — не выдержавшим ее болезнь, не абстрагировавшимся от нее. От нее, да и друг от друга сбежавших.

Дядя уезжает после ужина, говорит, что успеет на последний поезд — он боится, что город затопит и он не сможет выбраться отсюда. Уилл снова говорит свое: «Слава богу!», когда дядя садится в кеб.

— А вот теперь мы серьезно поговорим, — Уилл садится за стол на кухне, словно какой-то важный министр, и ждет, пока мы сделаем то же самое. — Тетя не оставила завещания, а это значит, что мы как ближайшие ее родственники получаем этот дом по закону.

— Подожди, вы — племянники, тем более вообще двоюродные, разве нет кого-то ближе? Мне кажется, ваша мама и ваш дядя в очереди на наследство будут стоять перед вами, — говорю я.

Уилл закатывает глаза:

— Мы ее ближайшие родственники. С родителями я уже все обсудил, они как жили в Фулборне, так там и останутся, им здесь дом ни к чему. Дядя прекрасно живет себе в Девоне, юг все-таки, красота, с ним я тоже все обговорил.

— И он просто так уступил тебе дом? Дом в Старом Городе Эдинбурга, в центре? Как-то это, знаешь... — подает голос смотритель маяка и скрещивает руки на груди.

— Если я сказал, что я все решил, значит, я все решил, — стучит пальцами по столешнице Уилл. — Остаются вы, — он кивает на нас. — У вас сейчас денег много, вы живете в Лондоне, зачем вам дом в Эдинбурге?

— Я вообще к этому дому и к завещанию, которого нет, никакого отношения не имею, — пожимаю я плечами.

— Имеешь, потому что вы с моим братом все еще женаты.

— А я думала, вы в разводе, просто в хороших отношениях, — бормочет Джинни, я мотаю головой.

— Ну так что? — выдыхает Уилл, мы молчим. — Нам надо решить все сейчас.

— Забавно, что родители не сказали мне об этом вашем разговоре, — говорит он.

— Они предположили, что тебе этот дом будет не нужен. А теперь ты мне скажи: нужен или нет?

— Нет, не нужен, — качает он головой.

— Замечательно, тогда вам нужно будет подписать отказ через полгода, хорошо?

— Ладно, — кивает он.

— А когда вы уезжаете? — продолжает тараторить Уилл.

— Не наглей вконец, — смеюсь я. — Точно не сегодня.

Мы поднимаемся на второй этаж, он садится на спинку дивана, я в кресло у окна.

— Чертов жучара, а я думаю, чего он никому не звонит, не сообщает о смерти тети, а он дом решил оккупировать в обход всех, — фыркает он, а потом улыбается: — Вместо ведьмы в прятном доме теперь будет жить упырь.

— Да, все-таки удивительно, вы — родные братья, а не похожи по всем фронтам, — говорю я, смотря, как на улице мерно помаргивают фонари.

— И это радует, — шепчет он. — Ты уезжаешь завтра?

Я киваю:

— В понедельник у нас запись на радио.

— Можем ехать вместе, все лучше, чем на поезде.

— Спасибо, — я встаю с кресла и собираюсь идти в спальню, но останавливаюсь рядом с ним. — Если честно, не могу смотреть фильмы с тобой, в «Глобус» тоже ходить не могу. Родители вот ходят постоянно, потом звонят, рассказывают, как ты там, а я не могу.

Он улыбается:

— Не переживай, это взаимно. У меня есть оба альбома твоей группы, но слушать их не могу.

Я выдыхаю:

— Ну ладно. Как-то даже полегчало.

— Спокойной ночи, — выдыхает он.

— Спокойной, — я закрываюсь в спальне, спать не могу: слушаю дождь, слушаю, как в ванной бежит вода, как ворчит внизу Уилл — в доме невероятная слышимость. Я все никак не могу вспомнить, что происходило все эти пять лет: я прекрасно помню работу в редакции после универа: нас было всего трое, потом стало больше, мы занимались обзорами музыкальных альбомов, брали интервью у музыкантов, ходили на концерты, базировались недалеко от самого большого музыкального магазина в городе, где можно было играть на инструментах, а вечерами там проходили акустические сессии малоизвестных групп и исполнителей, а еще висела доска объявлений, на которой все время болтались бумажки, написанные от руки: искали барабанщиков, клавишников, гитаристов и вокалистов, обменивали одни гитары на другие, продавали инструменты, приглашали на концерты. Работа в редакции приносила радость, в выходные было репетиторство — английский и литература, ученики приходили все в ту же редакцию, потому что дома было невозможно заниматься. Он же начал играть в театре, темном, мрачном, там всегда был приглушенный свет, всегда полные залы, негласный дресс-код: приходи в темном под стать зданию и атмосфере. Он был Горацио, его первая серьезная роль, мы как раз ходили смотреть на него каждую неделю с дедом, потом наравне с «Гамлетом» были «Внесите тела», и «Алхимик», и «Комедия ошибок», и «Два веронца». Редакция, театр, репетиторство, бдения по городу, походы в тот особенный паб по выходным уже после смерти деда, возвращение домой, где мы прятались на чердаке и разговаривали шепотом до глубокой ночи в темноте, прячась от ведьмы, которая, думая, что нас нет дома, поднималась к нам на второй этаж, включала везде свет, ходила по квартире часами и разговаривала сама с собой. Сейчас плохое не вспоминается, не вспоминается напряжение, не вспоминается нежелание идти домой, видеть ее, ее болезнь. Жизнь с больным человеком бок о бок ни к чему хорошему не приводит. В перерывах между работой мы мчали домой, чтобы проверить, как она там, накормить, проверить, чтобы она выпила свои лекарства, и если удавалась напоить ее таблетками без истерик и обвинений в том, что мы якобы хотим ее отравить, значит, день проходил нормально. Уилл не приезжал совсем, если ему только что-то нужно было. И сейчас, много лет спустя, я думаю, что это было несправедливо по отношению к нам, таким слишком добрым и жалостливым, как сказал Уилл однажды. Ни он, ни их родители ни разу нас не подменили, не пожалели, не помогли нам. Мы были с тетей один на один, спасаясь работой, разговорами на чердаке шепотом. Мы постоянно прислушивались, как она там, внизу, когда сидит и смотрит телевизор на втором этаже, когда думает, что нас нет дома.

И как бы нам ни хотелось остаться подольше за городом, подольше погулять после спектакля или концерта, мы бежали домой, чтобы отпустить соседку, которая соглашалась посидеть с тетей иногда, чтобы проверить, все ли хорошо. Мы, как Гензель и Гретель, ходили по дремучему лесу кругами и каждый раз выходили к одному и тому же страшному проклятому дому. Потом ему предложили роль в фильме, большую, главную, а мне на глаза попало объявление у музыкального магазина, написанное моим бывшим однокурсником, его группа искала того, кто будет писать тексты песен и играть на гитаре — текстов у меня накопилось много, инструмент, подаренная дедом гитара, на которой удавалось поиграть в редакции, потому что дома это делать было невозможно, тоже был. Мы долго разговаривали, взвешивали все за и против, переругались с Уиллом и их родителями, потому что они считали, что мы нагло и эгоистично бросаем больную тетю ради каких-то призрачных планов и абсолютной ерунды. Мы долго разговаривали, а потом решили, что нужно наконец сделать что-то и для себя, ведь иначе можно заскорузнуть в этом городе, в театре, играя Горацио, в редакции, которая держится на добром слове. Он позвонил своему агенту, дал согласие на роль, его брали даже без проб, а мой однокурсник перезвонил мне сам, получил по почте тексты и кассеты с демо, мы договорились встретиться в Лондоне. Мы собрались за ночь, долго прощались на крыльце, обещали друг другу писать и звонить, хотя уезжали в никуда без телефонов, без адресов. Мы долго прощались, уговаривали друг друга, что все делаем правильно, что так будет лучше, потом мы сели в два разных кеба и разъехались в разные стороны. И все, и кажется, что за этим больше ничего не было.

Вопли Уилла и топот слышатся глубокой ночью. Мы выбегаем на лестницу в темноте.

— Что случилось? — спрашиваю я.

— Что случилось?! Из-под входной двери хлещет вода, кругом вода! — орет Уилл.

— Поднимайтесь к нам, — спокойно, как истинный зритель заброшенного маяка, говорит он, опершись о перила.

Слышно, как ругается Уилл и смеется Джинни:

— Со мной такое впервые.

— В этом нет ничего смешного, — ворчит Уилл, она берет его под руку и целует в плечо, я даже морщусь — целовать этого придурка, ну не знаю.

Отовсюду слышится стук и звон дождя, где-то вдалеке — вой сирены, электричества нет.

— Где-то были свечи, — говорю я. — Целая коробка, мы же как-то уже сидели без света.

— На чердаке, — доносится из темноты, а потом во всполохе огонька из зажигалки появляется его лицо. И он уже не зритель заброшенного маяка, а сам маяк. В его темных волосах дрожит и переливается жидким золотом пламя, в его глазах плещется дикий океан, а на губах играет улыбка. Он рад. Рад потоку и отсутствию света. — Ты идешь? — спрашивает он и идет к чердачной лестнице.

— Иду. — Мы оставляем Уилла и Джинни, осторожно поднимаемся по лестнице на чердак и там практически на ощупь находим коробку со свечами. На чердаке по-прежнему стопками стоят наши книги, старая софа с подушками, я провожу по ее спинке рукой — полно пыли, окно ничем не скрыто, не спрятано. На улице ничего, кроме дождя, не видно, я открываю окно, в лицо бьет резкий ветер, все бурлит и журчит.

— Как бы твою машину не смыло.

Он зажигает две свечи и подает мне одну, пожимает плечами:

— Да даже если и смоем.

До рассвета мы успеваем перенести все вещи Уилла и Джинни с первого этажа на второй, а еще всю еду из холодильника.

— Получается, что не зря и готовили, — Джинни ставит чайник на каминную полку, а Уилл расставляет контейнеры с едой на столе. На втором этаже, прямо за гостиной (мы всегда называли ее недогостиной), распростерлась небольшая кухня. Когда мы переехали сюда, ее здесь не было, была одна большая комната, как и спальня, с двумя вытянутыми окнами, камином и узкой дверью в холодную кладовку. Мы повесили шкафчики, поставили круглый стол, обзавелись плитой, лишь бы не спускаться вниз на кухню к тете.

Еда прячется в кладовку, я наливаю в чайник воды, а Уилл со зрителем маяка пытаются разжечь камин.

— А нет к нему никакой инструкции? — бормочет Уилл.

— Нет, это же камин, какие инструкции? — он шебуршит в темноте, указывает Уиллу, держащему над ним свечу, куда светить.

— Не обижайся, но он похож на Коллинза из «Гордости и предубеждения», — говорю я Джинни.

Она качает головой:

— Нет, совсем нет. Это только кажется, на самом деле он хороший человек, со своими, конечно, тараканами, но... Я не знаю никого лучше его.

— Признайся, Уилли, ты ее приворожил, — говорю я, Уилл фыркает. — Ходил к какой-нибудь бабке-ведьме точно, — шепчу я уже Джинни, она улыбается.

В чайнике над огнем закипает вода, и вся эта тьма, разбавленная мерным потрескиванием поленьев в камине и мягким, теплым светом, так напоминает тот паб, до которого через кладбище и поле, вниз-вниз, а потом вдоль приземистых белых домишек с горбатыми серыми крышами и маленькими окнами.

— Мы застряли здесь надолго, — бормочет Уилл, и голос его не ворчливый, а совершенно ровный и серьезный. Он обнимает одной рукой заснувшую на диване Вирджинию, смотрит в огонь.

— Ну и что? Ты вообще, считай, в своем доме, — говорит зритель маяка, скрестив руки на груди, он сидит на подоконнике, я — в кресле. Медленно разгорается рассвет, черные тучи превращаются в серые, вдалеке, над крышами старых домов, возвышается шпиль часовой башни. В доме напротив такие же, как мы, неспящие смотрят в окно.

— Прекрати, — выдыхает Уилл. — У тебя все есть, чего тебе жаловаться.

— Я не жалуясь.

— Жалуешься, я слышу это в твоем голосе, а жаловаться впору мне. Тебе вот всегда все доставалось: учишь где хочешь, живи где хочешь, работай где хочешь, полная свобода действий. Захотел — свалил во Францию, захотел — вернулся в Англию. Младших всегда любят больше, да-да.

— А ничего, что ты был освобожден от помощи тети, от учебы в принципе, на работе сейчас не убился. Живи где хочешь?! Учишь где хочешь?! Ты всю жизнь, пока не женился, прожил с родителями, это очень удобно, это очень спокойно и приятно, а мне в шестнадцать лет было сказано, чтобы я шел себе своей дорогой, уже совсем большой и взрослый мальчик. Так что, дорогой брат, живя с родителями, учась в университете, где декан наша мамуля, работая в фирме, где глава наш папуля, очень легко рассуждать о жизни и свободе. Я не собираюсь воевать с тобой из-за этого дома, ты им хоть подавись... — Он замолкает, а Уилл открывает рот, чтобы сказать что-то еще, но я не даю ему это сделать:

— Все, хватит. Высказались? Замечательно.

Я снимаю с огня чайник, разливаю по кружкам чай.

— Вы с Джинни оставайтесь здесь, а мы зайдем чердак, да? — Все еще хмурый зритель маяка кивает. — Нужно отдохнуть, — говорю я. — Все устали.

Мы поднимаемся на чердак с чашками, садимся на софу.

— Иногда я его ненавижу, — шепчет он, я хмыкаю:

— А вот Джинни говорит, что не встречала человека лучше него.

— Пф-ф, а рассказала ли Джинни, что ее ему, считай, купили. Очень выгодная сделка ее родителей и наших.

— Да ну, — толкаю я его в плечо. — Сочиняешь?

— Нет, честно. Ее отец задолжал нашему огромную сумму денег, а потом, представь, прямо как в викторианском романе: мой благородный брат увидел Джинни, влюбился, выплатил долг своими деньгами, но ты же знаешь, что у него ничего своего нет и никогда не было, в общем, он выплатил долг отцу его же деньгами. Отец не особенно был рад, а Уилл же влюбился, ему по барабану, даже если его не любят.

— Так она же его любит. Сама же сказала.

— А ты много кому говоришь, что кого-то любишь? — спрашивает он, за его плечами расцветает дождливый рассвет. Я молчу. — Вот и я о том же. А потом завертелось-закрутилось, Уилл из кожи вон лез, чтобы Джинни досталась ему, а родители только радовались: надо же, любимый сын бьется в чувствах, по потолку готов ходить от счастья и радости, от любви. Так что простил папа долг, а родители Джинни на радостях отдали ее за Уилла.

— Средние века какие-то, — я ставлю чашку с чаем на пол и откидываюсь на спинку софы.

— Хуже, — бормочет он. — Где-то же тут у нас был надувной матрас, помнишь? Надуем его, я на нем буду спать, а тебе уступаю софу.

Я снова спускаюсь вниз, чтобы взять из спальни постельное белье, пару подушек и пледы. Уилл и Джинни спят на диване в гостиной. Я недолго смотрю на них, перебарывая всю эту историю. Их историю.

— Снова Гензель и Гретель в естественной среде обитания, — говорит он, помогая мне затащить на чердак подушки и все остальное. Он уже надул матрас, смахнул с софы пыль («Как мог», — смеется он), приоткрыл окно, чтобы было больше воздуха.

— Это вроде как осколки старого проклятия, — я смотрю в окно, пока он застилает постели. — Электричества нет, радио молчит, телефон тоже. Никто не позвонит, не придет, не приедет.

— Так это же хорошо. У тебя давно такое было? Было ли вообще когда-то? Когда никому ничего не надо доказывать, показывать, когда не нужно никуда торопиться, ни с кем, ни о чем договариваться. Ты и я сейчас — обычные заложники обстоятельств. И этим нужно пользоваться. Я вот даже рад, что все так складывается. А ты?

— А я не знаю. Вообще не знаю, что я тут снова делаю.

— Как что?! Живешь на чердаке. Снова. Снова со мной, — он улыбается, я тоже.

Он укладывается на надувной матрас, я — на софу, он смотрит в потолок, по которому ползут редкие лучи тусклого солнца.

— Слышишь? — шепчет вдруг он, я прислушиваюсь, слышно, как внизу храпит Уилл. Очень музыкально храпит. — Самый лучший в мире человек храпит. — Я смеюсь.

Когда я просыпаюсь, он сидит под окном и читает какую-то книгу, матрас пододвинут почти к самой моей софе. Мерно разбиваются капли воды о дно вазы, которая стоит у стены.

— Меня чуть не смыло, — кивает он на вазу. — Так что пришлось переехать ближе к тебе.

— Сколько времени?

— Почти двенадцать, — он откладывает книгу. — Я не хочу спускаться вниз, они уже не спят, — он ложится на пол и прислушивается, я делаю то же самое — внизу тихо, слышны только звуки шагов.

— Они что, просто молча там ходят? — спрашиваю я.

— Ага, как два привидения. А может, они танцуют?

— Может, и танцуют, — я встаю, осматриваюсь: здесь можно было бы жить всю жизнь, здесь можно было бы прятаться от всех кошмаров и невзгод. Тетка-ведьма не могла подняться по чердачной лестнице, она слишком крутая, она не могла бы открыть дверь, мы всегда запирали ее за собой, а когда было особенно плохо и страшно, мы пододвигали к ней вплотную пустой комод. Мы тоже сидели без света, жгли свечи, слушали музыку на проигрывателе тихо-тихо, разговаривали исключительно шепотом. И не было места лучше в мире, и не было в мире места хуже, чем этот чердак.

— Знаешь, нам все равно придется поговорить, — он продолжает шептать, сидя на полу и прижимая к себе книгу.

— Я принесу чего-нибудь пожевать, — я делаю вид, что не слышу его, и ухожу вниз, где Уилл ходит от одного окна к другому, а Джинни ходит по комнате с тряпкой и вытирает пыль. Это у них, наверное, нервное.

— Нас ведь должны приехать спасать, да? — говорит Уилл, подходя ко мне, я открываю кладовку. — Эвакуировать ведь нас должны? Что в такой ситуации должны делать?

— Не знаю, Уилл, — вздыхаю я. — Вы есть будете?

— Мы уже ели, — заводит его. — Налили горячей воды в термос.

— Молодцы, — я кладу еду на тарелку — зеленый салат и печеный картофель, мясо с сырной корочкой. Я смотрю на Джинни, которая натирает каминную полку уже, наверное, не в первый раз, и в груди что-то щемит. Снова эта доброта и жалостливость.

— Брось ты все это, не зарастем пылью, — говорю я Вирджинии, она улыбается.

Я возвращаюсь на чердак, ставлю тарелку на пол:

— За чаем потом ты пойдешь.

Он соглашается.

— Давай поговорим, — снова начинает он. — Вот ты в своих открытках только про природу да погоду пишешь, а о себе ни слова. «В Крема до ужаса тихо и спокойно, красиво, тепло. Тебе бы понравилось. Тебе бы это место очень подошло». А где про то, как ты в Крема? Что было в Крема? Кто был с тобой в Крема?

— Мы были там с группой, снимали видео, — отвечаю я и улыбаюсь. — Вот ты задаешь вопросы, а сам: «Дорогое сердце, видел пластинку Бадди Холли, точно такую же, как у нас на чердаке, не удержался и купил». Зачем купил? Слушал? Если слушал, то с кем слушал?

— Один дома и слушал, — фыркает он. — М-да, каким бы маленьким ни был Лондон, мы там ни разу друг с другом не столкнулись, странно, да?

— У нас просто разные сферы интересов: если мы что-то записываем, то по большей части пропадем в какой-нибудь студии, если у нас тур, значит, мы пропадем в разных городах, странах, а у тебя «Глобус», и ты тоже пропадешь в городах и странах. Так что ничего удивительного, что мы ни разу не виделись.

— Твоя мама дала мне твой домашний телефон и адрес, — признается он.

— Она не говорила. Чего не позвонил?

— Ну сначала я, конечно, хотел, а потом, знаешь, я решил, что еще не время, да и страх того, что трубку возьмешь не ты, был силен. — Я на это киваю. — Плюс я утешал себя мыслью о том, что, если ты меня не ищешь, значит, разводиться тебе не хочется или, по крайней мере, пока не нужно.

Я смеюсь:

— У меня была та же отговорка. Мама дала мне твой номер и адрес, так что мы были куда ближе, чем казалось.

— А теперь? — шепчет он, я пожимаю плечами.

А что теперь? Прошло так много времени, осталось ли что-нибудь от детей с чердака приличного дома? Я утыкаюсь лбом в его плечо:

— Мне было бы проще ответить на «А теперь?», если бы ты сюда приехал не один, если бы не отдал мне письма, если бы не потоп и не чердак. Мне было бы проще, если бы за пять лет мне удалось бы тебя возненавидеть или хотя бы обидеться на тебя, так ведь нет. Мне все кажется, что мы прощались на крыльце этого дома вчера, кажется, что люди кругом хуже тебя, мне кажется, что это судьба.

Больше мы об этом в этот день не разговариваем, он читает под окном, я — на своей софе. Когда надоедает читать, мы спускаемся вниз, чтобы выпить чаю. Уилл рассказывает по комнате в резиновых сапогах, найденных в шкафу в спальне.

— Я собираюсь пойти в полицию, — говорит он, все молчат: Джинни сидит за столом, опустив голову, а мы со зрителем маяка прилаживаем чайник над огнем в камине.

— Что случилось? На тебя кто-то напал? Кто-то тебя ограбил? Оскорбил? — не выдерживаю я.

— Нас никто не спасает.

— Уилл, вода уже уходит, — вздыхает Джинни, я открываю дверь на лестницу и смотрю, как на первом этаже стало действительно меньше воды.

— Она вся утекла в подвал, — спорит Уилл.

— Пусть идет, — подает голос зритель маяка. — Глядишь, уйдет вода, похороним и тебя рядом с тетей. Посмотри в окно, все сидят по домам, ничего критичного не случилось, что, не топило город никогда, что ли? Топило. Дня через три вода уйдет совсем, дожди пройдут, и можно будет возвращаться домой. Поверь мне, тебе скажут это же в полиции, если ты дойдешь до участка. Чего ты такой нервный, присядь, отдохни, расслабься, никуда не торопись — тебе некуда, и все. — Уилл, не снимая сапог, падает в кресло у окна и хватается с подоконника газету недельной давности.

— Чего он такой нервный? — спрашиваю я, когда мы снова оказываемся на чердаке, ставим на пол чашки с чаем и устраиваемся под окном.

— Я так думаю, что добиваться Джинни было веселее и интереснее, чем жить с ней под одной крышей, теперь ему вроде как скучно. Все цели пропали, он всего достиг, так что вот и дурит. Ставлю на то, что он ее бросит.

— Может, она его... Хотя ей, наверное, некуда деваться. Родители будут не в восторге, если она его бросит и вернется к ним.

— А своего у нее ничего, как и у него, нет, — шепчет он, а у меня к горлу подкапывает ком. Не доброта, не жалость, а тошнота. Как-то от всего этого противно. От отношений их, созданных искусственно, от хождений по комнате, бездумных и бессмысленных, от резиновых сапог, от истерик Уилла и молчания Джинни. Пять лет назад, когда нам казалось, что у нас тоже ничего своего нет, у нас было все: у нас были мы, у нас была у каждого работа, которая нам нравилась, у нас был наш чердак, хоть официально он, конечно же, был тети, но все же у нас были свои секреты, свои разговоры, свои мечты и цели. И этого было достаточно, чтобы не испытывать друг к другу отвращения, чтобы друг друга постоянно поддерживать, чтобы друг друга отпустить.

— Тебе нравится играть в театре? — Он кивает. — А в кино?

— И в кино, — он улыбается. — А тебе нравится играть в группе?

— Нравится, я ничем больше пока не хочу заниматься, кроме этого. Уилл и Джинни меня угнетают, — шепчу я. — Я от них болею, меня от них тошнит, я их не понимаю и не собираюсь даже понимать. Мне хочется бежать отсюда даже больше, чем раньше. Когда мы женились, то заключили устное соглашение, помнишь? Мы договорились, что если разлюбим друг друга, то скажем об этом друг другу честно, мы договорились разговаривать о чувствах, о мыслях, мы договорились друг друга не предавать и всегда быть друг другу друзьями, так?

— Так, — он облокачивается спиной о стену под окном.

— Ты меня разлюбил? — Он мотает головой. — И я тебя нет. Особенно это бьет по мне, когда я смотрю на этих двоих. Мы будем разводиться?

— Я не собираюсь с тобой разводиться, а ты? — говорит он.

— И я не собираюсь разводиться ни с тобой, ни с собой. И «ни с собой» — это к вопросам про театр и кино. Я точно знаю, что ты ни первое, ни второе бросить не сможешь, как и я не брошу музыку и группу, поэтому я предлагаю дополнить наше соглашение: если мы разлюбим друг друга, то скажем об этом прямо, мы продолжим говорить о чувствах и мыслях, мы друг друга никогда не предадим и друг другу вечность будем друзьями, а еще мы не будем попрекать друг друга работой, потому что, как говорится, любишь меня, люби и мою собаку. Согласен? — Он протягивает руку, чтобы скрепить согласие. Я обхватываю его пальцы своими, и он тянет меня на себя, обнимает за плечи и целует в висок:

— Представь, целый город ради этого затопило.

Я смеюсь ему в плечо, думая о том, что, наверное, всему свое время, тогда, пять лет назад, было не время, неподходящее время, тогда, пять лет назад, детям с заколдованного чердака нужно было разойтись в разные стороны, найти себя самих, а сейчас, когда ни с собой, ни друг с другом расходиться не хочется и не может, — самое время. И даже если ради этого топят целый город, даже если ради этого растает проклятый пряничный домик, — все равно.

Гензель и Гретель свободны от ведьмы, Гензель и Гретель вообще свободны, и вот закончатся дожди, уйдет вода, они спустятся с этого чердака в последний раз и уйдут в новую жизнь.

— Мне жалко сапоги, — вдруг шепчет он.

— Они, кстати, мои, — отвечаю я. Загадка, как он в них влез вообще.

Смотритель маяка смеется, обнимая меня крепче.

ЗА ДВЕРЬЮ

В комнате так и не прибавилось распакованных вещей — святая пуританка, не считая коробок в углу. Кинутый на пол матрас, заменяющий кровать, завален одеждой, на рабочем столе — допотопный ноутбук, который гудит и жужжит так, словно готов вот-вот взлететь, книги, исписанные листы бумаги и куски перевода, которые еще править и править.

До Нового года остается каких-то шесть часов, медленно кружит снег, и прозрачные синие сумерки укрывают старый город; в соседнем доме в круглом окне под крышей разлит мягким золотом свет, и двое сидят за кухонным столом не так, как это вроде было бы удобнее, напротив друг друга, а плечом к плечу, они о чем-то увлеченно беседуют, иногда мне кажется, что я даже слышу обрывки их фраз, обрывки их мыслей, но это только кажется. Это всего лишь голос города. Города и его хронической пустоты. Переводить не хочется, разбирать вещи тоже не хочется, думать о том, что через каких-то шесть часов наступит Новый год, не хочется, хочется просто смотреть в окно.

Очередная пластинка перестает играть, а я даже не сразу это замечаю, по комнате разносится тихое потрескивание от иглы. В единственной открытой коробке стройным рядом стоят пластинки, я выбираю одну наугад, выуживаю из яркого конверта и ставлю в проигрыватель, снова трещит и поскрипывает игла, а потом комнату заливают музыка.

Сами собой весятся на вешалку свитера, рубашки, футболки и джинсы, становится как-то даже повеселей. На кухне ставлю чайник и изучаю коробочку, которую мне

подарила моя соседка сегодня утром, когда заходила позвонить; неделю назад, когда здесь оказались все эти коробки и вдобавок я, она пришла довольная и яркая — ее губы были ярче губ Харли Квин в комиксах про «Бэтмена», от ее длинного платья в мелкий цветочек рябило в глазах — такая психоделия бохо-шика. Она рассказала, что на лестничной клетке телефон есть только у меня и она, вообще-то, ходила сюда звонить каждый день, пока здесь жили другие хозяева, но они съехали три месяца назад, и «ты даже не представляешь, какой это был ад», я только киваю головой: ад так ад, звонить так звонить. В итоге в качестве подарка на новоселье и Новый год она подарила мне пахнущую специями и чем-то цитрусовым коробочку, перевязанную цветастыми нитками. В коробочке этой оказалась смесь для глинтвейна, в холодильнике нашлось вишневое вино. Сложив дважды два, мне подумалось о том, что можно было бы сварить глинтвейн на вечер или ночь, а можно просто оставить коробочку эту, пока не приедет третьего числа сестра, ей такие штуки нравятся. Вечер ленивый и томный.

К семи вместе со снегом начинает идти дождь, отовсюду стучит и бренчит, а в вентиляции завывает ветер, приходится сделать музыку громче. За дождем появляется что-то еще, словно далекие раскаты грома, я застываю с ножницами в руках рядом с одной из коробок. Гремит-гремит и замолкает, уступая место дождю и его ледяным каплям, разбивающимся об оконное стекло и карнизы. Снова гремит, я выхожу в прихожую, звук здесь громче, смотрю в глазок и замечаю у соседской квартиры, той самой Харли Квин, парня в зеленой обледеневшей парке с помятым букетом когда-то пышных ромашек. Он периодически стучит в дверь и переминается с ноги на ногу, холодно.

— Ее нет, — я выглядываю из-за двери с ножницами, он замирает, с меха на капюшоне на плотную темно-зеленую ткань стекает вода.

— Нет? — он переспрашивает как-то рассеянно; по ногам гуляет сквозняк. — Черт, а давно?

— Она ушла около одиннадцати, заходила ко мне позвонить, была в пальто. Она не возвращалась, у нее дверь скрипит, было бы слышно. — Парень легонько встряхивает букетом с ромашками, с него осыпается пара лепестков.

— Ясно, — говорит парень и смотрит в окно парадной, на нашем этаже по рифленому стеклу идет трещина, и сквозь нее просачивается ледяная дождевая вода. Я выхожу из-за двери прямо босиком. — Отпраздновали, блин, Новый год...

— Эм, там у меня в прихожей, у телефона, лежит листок, на нем написаны номера, куда она обычно звонит, может, тебе позвонить? Может, она забыла, или застряла где-нибудь, или...

Он усмехается и кивает головой:

— Спасибо.

— Да не за что.

— Холодно, — он кивает на мои босые ноги, я пожимаю плечами. — А ножницы зачем?

— Да я это... Коробки просто открываю.

— С подарками, что ли?

— Нет, с вещами. У меня даже елки нет, праздновать буду позже с семьей, а сегодня вот так, — улыбаюсь я.

— А сегодня руки-ножницы, как у Бертон, — бормочет он и заходит со мной в квартиру.

Он обзванивает всех из списка с листка, но никто не дает ему ответа, где она и когда вернется. Он так и стоит в прихожей в парке, с которой стекает вода, и с букетом, который постепенно осыпается.

— Это что, Синатра?! — кричит он из прихожей, зажав трубку между плечом и ухом, слушает длинный гудок — оставшийся от последнего разговора печальный шлейф.

— Ага, — отвечаю я, бесцельно смотря в окно, — непогода бьет все рекорды. — Ну как оно?

Он не отвечает, просто вздыхает и кладет наконец трубку:

— Давай помогу с коробками? Раз уж мы не празднуем и не собираемся, да и вдруг она вернется.

— Ну давай, — пожимаю я плечами. — Скидывай ботинки и парку, будем сушить, для цветов сейчас найду банку или что-нибудь, прости, вазы у меня нет.

Рыжие ботинки отправляются под батарею, парку мы раскидываем, словно флаг, на спинке стула, а ободранный букет ромашек отправляется в найденный на кухне графин — привет от прошлых хозяев. Он остается в своих светлых джинсах и черной водолазке с закатанными до локтей рукавами, теребит браслет от своих массивных часов:

— Что по фронту работ?

— В одной из коробок — стеллаж, наверное, надо вытащить его и собрать, а потом раскладывать книги и что тут еще, не знаю. — Он только кивает; мы вскрываем все коробки, с горем пополам находим простенький стеллаж со всеми примыкающими к нему железяками и инструкцией. До Нового года остается три с половиной часа.

Он разбирается со «строительством», пока я слоняюсь с ножницами между коробок и меняю пластинки.

— Поставь еще раз Синатру, — говорит он, оборачиваясь через плечо.

— Он тебе нравится?

— Не знаю, скорее всего, да, я просто вспомнил одну историю, у моего папы большая коллекция винила, они с дедом пластинки вместе собирали, и Синатра у них тоже был, как раз эта пластинка, и однажды к ним в гости пришел какой-то переводчик, это было давно, лет двадцать назад, и он попросил подарить ему эту пластинку, дед отказался, но бабушка вступилась за переводчика, надавила на вежливость и все такое, в общем, переводчик ушел с этой пластинкой, а дед с папой потом ее нигде найти так и не смогли, и вот она играет сегодня здесь. Не та самая, ушедшая с переводчиком, конечно, но все же, понимаешь? — Я киваю, шелкая ножницами, он взъерошивает свои и без этого лохматые светлые волосы, которые в свете лампочки, что скромно ютится под потолком, отдают золотом, таким же мягким, как то самое золото круглого окна, где двое сидят за столом; я вдруг поворачиваю голову к окну и вглядываюсь в черноту вечера, чтобы проверить, как они там, но из-за снега и дождя ничего не видно.

— У меня такое с одной песней. Ее, правда, никто никому не отдавал, но она как-то запала, а найти нигде не могу, в плане, диск — пожалуйста, кассета — хоть сейчас, даже пару раз по MTV ее крутили в различных вариациях, но на виниле ее нет.

— Что за песня? — он откладывает отвертку и осматривает собранную часть стеллажа. Стеллаж этот почти те же самые коробки — белые квадраты, стоящие друг на друге, у стены смотрятся словно соты — на первое время в самый раз.

— «Talk Tonight», это «Oasis». Мне твоя парка про нее напомнила, правда, парки носит Лиам, а не Ноэл, но это, знаешь, странные логические цепочки разума.

— Вот как, — кивает он. — Сюда его поставим? — он указывает на место между окном и вешалкой.

— Сюда, — соглашаюсь я.

Он не говорит о ней, Харли Квин, и, кажется, совершенно не прислушивается к звукам из парадной, где периодически гремит лифт и кто-то топает ногами по лестнице, видимо пытаясь избавиться от мокрого снега. Вероятно, он наверняка знает, как

скрипит ее дверь. Он сосредоточенно перебирает книги, а еще меняет пластинки, потому что стоит ближе к проигрывателю, он читает стихи с чувством и с толком, когда натывается на Бродского, которого зовет просто Бродский, а потом читает Лермонтова, которого зовет Михаил Юрьевич.

— Это что-то вроде подчеркнутого уважения? — спрашиваю я, когда он протягивает мне очередную книгу из коробки.

— Не знаю, просто Бродский — это Бродский, Маяковский — тоже Маяковский, Есенин, Блок, а все эти парни далекого прошлого: Михаилы Юрьевичи, Александры Сергеевичи, Кондратии Федоровичи — это вроде по старшинству. Я не знаю, кого из них я люблю больше.

— Это все под настроение.

— Точно. Значит, из вещей у тебя только вешалка, книги, пластинки и какие-то бумажки на столе?

— Бумажки — это по работе.

— И где ты с этими бумажками работаешь?

— В одном издательстве перевожу книги с английского на русский.

— Неужели осталось что-то, что еще не перевели? — он садится на пол, скрестив ноги по-турецки, я смотрю на его темно-зеленые носки, а потом на бледные руки с длинными пальцами, которые начинают складывать пустые коробки, на мой вопросительный взгляд он отвечает: — Сейчас разберем их, сложим, поставишь куда-нибудь, может, потом пригодятся, а если нет, выкидывать будет проще.

— А ты хозяйственный человек, я смотрю, — смеюсь я. — А насчет работы — ты даже не представляешь, как много еще не переведено, как много всего нового появляется каждый год.

— Про новое я как-то не подумал, зациклился на старом после Михаила Юрьевича. Значит, ты и сейчас что-то переводишь?

— Да, один роман из новых. Александра Томаса Тибэ¹.

— Я о таком даже не слышал, — хмурится он и смахивает со лба мешающую челку — трудно представить на его голове порядок, он похож на безумца со своей лохматостью, угловатой ломкостью лица — свет играет на нем просто невообразимо, в зависимости от того, как он поворачивает голову, тени пляшут и обрисовывают все острые и резкие углы — его скулы и линия челюсти, прямой нос и подбородок.

В один момент он похож на ангела, тогда свет укрывает его лицо почти полностью, бледность превращается в перламутр и оседает на его ресницах и волосах, но стоит ему повернуться, и он превращается в черно-белого демона, скуластого и пугающего, седого. Ангелом он смеется и подпевает какой-нибудь песне, смешно коверкая слова или интонации, демоном он выпадает из реальности в свои собственные мысли и долго молчит, может быть, именно в эти моменты он прислушивается, не скрипнула ли соседская дверь.

— Его роман называется «Бумага», и в нем совершенно нет диалогов.

— Он от первого лица?

— Нет, от третьего. Мы все видим, все слышим, особенно какие-то посторонние звуки, которые, казалось бы, ничего не значат, мы по выражению лица догадываемся, что чувствует герой, но герой молчит, он ни с кем не говорит, он просто есть — и все, а вместе с ним есть и история.

— И что же, ни слова не произносит?

— Не произносит.

¹ Александр Томас Тибэ — выдуманный автор выдуманного романа (Александр в честь фронтмена «Arctic Monkeys», Алекса Тернера, Томас в честь валлийского поэта Дилана Томаса).

— И ты сидишь и целыми днями переводишь его выражение лица? — он склоняет голову к плечу.

— Да, есть там момент, где герой сидит в полицейском участке в Лидсе, смотрит на свои окровавленные руки и силится заплакать, но у него не получается, и лицо его автор сравнивает со смятым листом бумаги, грязным и рваным, просто кошмарным.

— А бывает белая бумага?

— Да, она была дважды: в первый раз главный герой улыбался в начале книги, и это была белая бумага, а в конце он умирает с такой же улыбкой, и это та же самая белая бумага. — Он долго молчит, периодически повторяя: «Белая бумага, белая бумага», стоит в самом центре комнаты, рассматривая голые, как назло, белые стены.

— Тебе бы, знаешь, побольше цвета, — вздыхает он, теревит браслет от своих часов. — Подушки, там, цветастые, картину какую-нибудь странную. Ты что больше любишь — квадраты или круги?

— Треугольники, — хмыкаю я, он смеется, а потом садится на край моего рабочего стола и всматривается в исписанные листы.

— Вот тебе не страшно впускать незнакомцев в дом? — он скрещивает руки на груди и смотрит пристально демоном.

— Ты смотрел «Влюблен по собственному желанию»? Меня всегда удивляло, почему главная героиня пошла к нему домой.

— А он еще и с другом.

— Звучит как криминал, — смеюсь я. — Так вот, она же пошла.

— Ну это какой год-то был. И это фильм, художественный вымысел, как-никак.

— А ты почему не отказываешься заходить в чужие квартиры?

— Резонно, — кивает он. — У тебя вообще руки-ножницы были, кстати, может, ты меня убьешь.

— Обязательно.

До Нового года остается час, и я все смотрю и смотрю на часы.

— Может, чаю? — предлагаю я, а к горлу подкатывает ком, ощущение того, что скоро должно что-то произойти, обрушивается на меня цунами. Люди сейчас, наверное, сидят себя за столами или носятся по кухням, пытаются доделать к празднику то, что осталось, а я: «Может, чаю?»

— Можно, — отвечает он, мы идем на кухню, где пахнет специями из подаренной коробочки.

— Вообще-то, у меня есть вино, и можно сварить глинтвейн, как думаешь? Праздник все-таки.

— Все-таки да, — говорит он, и чувство ожидания сменяется суетой, мы ищем кастрюлю для глинтвейна, который он берет на себя («Я все эти ее коробочки знаю»), я заглядываю в холодильник, где, по сути, кроме сыра, пары помидоров и яиц, ничего нет.

— Эм, яичница? — спрашиваю я.

— Новогодняя яичница, — поправляет он и помешивает глинтвейн в кастрюльке.

К без десяти двенадцать мы возвращаемся в комнату с глинтвейном, разлитым по огромным кружкам, и тарелками с яичницей, делаем музыку чуть тише, выключаем свет и открываем окно.

— Что ж, — начинает он, когда на часах красуется ноль-ноль-ноль-ноль. — Это мой самый странный Новый год.

— Мой тоже, — киваю головой я, смотря в открытое окно, за которым развивается бурная деятельность: над обледеневшими крышами разрываются фейерверки, люди кричат и поздравляют друг друга, пытаются перекричать дождь.

— Наверное, самый приятный и необычный, так что спасибо, я тридцать первого декабря еще ни разу не собирал стеллажи, и не разбирал книги, и не слушал столько винила.

— Взаимно, — киваю я и смотрю на его профиль в отблесках нескончаемых фейерверков — не ангел и не демон, просто человек, который застрял в чужой квартире с ободраным и помятым букетом ромашек.

До рассвета мы сидим на кухне, допиваем глинтвейн и обсуждаем тех двоих, что живут в соседнем доме с круглым окном.

— Иногда они танцуют, — говорю я, кивая на темное окно; по крыше тихо крадется утро нового года, светлое и спокойное. От ледяного дождя не остается и следа, собственно, как и от криков. Синатра продолжает крутиться в проигрывателе снова и снова, самое то для настроения. В прозрачном морозном воздухе медленно начинает кружиться снег.

— Правда? — спрашивает он, укладывая голову на свои руки, его явно клонит в сон, он бездумно гладит бок все еще теплой чашки — мы подогревали глинтвейн дважды.

— Да, часами, иногда попадают в мою музыку, даже странно, словно слышат. У меня раньше были ужасные соседи, а теперь вот: эти двое танцуют или просто сидят на кухне и болтают, здесь корбочки эти с глинтвейном и звонки по листочку.

— Веселье? — шепчет он.

— Веселье, — киваю я, последняя песня на стороне «А» гаснет, и надо бы сходить и перевернуть пластинку, но двигаться совершенно не хочется. Проигрыватель замолкает, и именно в этот момент, когда не слышно ничего, кроме тиканья его наручных часов, скрипит соседская дверь, протяжно и невероятно громко, словно кто-то с силой проводит по стеклу ногтем. И хочется зажать руками уши, перевернуть чертову пластинку, сделать звук громче, поставить чайник или сказать хоть что-нибудь вразумительное, но получается только: «Вернулась», — у него не получается ничего, он только кивает, поднимает голову и, подперев ее рукой, смотрит в окно демоном, хмурит брови и кусает нижнюю губу.

— Я пойду, — говорит он себе под нос.

— Да, — шепчу я, он встает, идет в комнату, забирает из-под батареи свои рыжие ботинки, носки которых украсила соль, стаскивает со спинки стула парку, встряхнув ее пару раз, и выходит в прихожую. Он путается в шнурках, потом залезает в рукава парки и выдыхает. — Букет, — напоминаю я, приношу помятые ромашки, а он улыбается.

— Черт с ним, с букетом, — взмахивает рукой, а потом зарывается пальцами в волосы. — Спасибо, — говорит тихо, словно не хочет, чтобы кто-нибудь услышал. — Кхм, я рад, что ты приглашаешь незнакомцев в дом, а я не боюсь людей с ножницами в руках.

— Руки-ножницы, — смеюсь я. — И тебе спасибо за все и с Новым годом.

— С новым счастьем, — шепчет он и выходит, закрыв за собой дверь. Я смотрю на темное дерево, а потом не выдерживаю и припадаю к глазку. Он стоит напротив соседской двери, пару раз заносит руку, чтобы постучать, смотрит демоном, кусает губу, а потом, так и не постучав, уходит по лестнице вниз, а я все стою и смотрю в глазок на пустую лестничную клетку и кованую стенку шахты старого лифта — считай, музейный экспонат.

Новый год наступил почти шесть часов назад, я снова включаю Синатру и падаю на матрас, кутаясь в одеяло и думая, что надо было подарить эту пластинку ему. Было бы символично.

Новый год шагает семимильными шагами, сменяя один день на другой: соседка, Харли Квин, приходит звонить по своему листку каждый день, и я стараюсь не прислушиваться к ее разговорам, приезжает семья, и три дня квартира гудит и шумит от раз-

говоров и смеха, потом все снова стихает, снова накатывают переводы и редактора, снегопады с мокрым дождем и прогулки от работы до дома. В одну из таких прогулок, когда солнце все еще висит высоко в небе и красит серый старый город в золото и отголоски предзакатного нежно-розового, я замечаю ее — картину со странными цветастыми треугольниками — прямо на улице, у одного художника у парка, он смеется и говорит, что ее никто брать не хотел, ей даже не интересовались, всем подавай портреты, а тут я. Треугольники эти я вешаю над матрасом, который так и не сменился диваном, пластинку Синатры зачем-то заворачиваю в подарочную упаковку, где-то на задворках сознания надеюсь увидеть его снова и подарить, эти задворки сознания не дают нормально спать, как и пластинка, и треугольники, с которыми, кстати, действительно ярче и уютнее.

Я снова ухожу в перевод «Бумаги», хожу кругами вокруг одного простенького эпизода, часами торчу на телефоне, разговаривая со своим сопереводачиком, с которым никак не получается найти общий язык, он предлагает этот эпизод вообще убрать, я предлагаю его оставить, и так до бесконечности.

К концу января от Нового года как от праздника не остается ни намек: все живые осыпавшиеся елки давным-давно отправились на свалки, фейерверки больше не запускают и не гуляют ночами, распевая песни в арке между домами, потому что так громче. К концу января у меня появляется приличный белый диван, треугольники по-прежнему кажутся уютными и до одури яркими, как и новые полосатые подушки. Пластинка Синатры так и лежит в упаковке, и можно было бы спросить у соседки про него, но язык не поворачивается, потому что это я загоняюсь с Синатрой, треугольниками и подушками этими диванными, добавляющими в белое цвета, а он?

В первый понедельник февраля, в шесть вечера, когда на плите закипает чайник, а спор с эпизодом из «Бумаги» наконец решен, в дверь кто-то уверенно стучит. Стучит раз, а потом еще и еще. Я выхожу в прихожую и, не смотря в глазок, открываю дверь, на пороге стоит он в шапке, сдвинутой на затылок, распахнутой парке, поверх которой намотан красный шарф, к рыжим ботинкам подобран такой же рыжий, почти ржавый свитер, а из-под светлых джинсов выглядывают ярко-фиолетовые носки. Мне сразу вспоминаются треугольники над диваном — несурзные, яркие, но такие уютные и теплые.

— Твоя «Talk Tonight» засветилась на новой пластинке «Oasis», которая вышла в Англии второго ноября, сегодня первое февраля, мой друг отыскал ее в Лос-Анджелесе, передал еще одному другу, который живет в Амстердаме, тот передал ее моей сестре, которая была проездом в Будапеште, и вот она у меня, точнее, у тебя, — выдает он и шумно дышит.

— Ты бежал, что ли? — Он кивает, я улыбаюсь. — Проходи, я меняю «Oasis» на Синатру, ты как?

— Я только за, — он словно привычно скидывает ботинки и ставит их под батарею в комнате, парку кидает на спинку моего рабочего стула и осматривается. — Треугольники.

— Они самые.

— Хорошо смотрятся.

— Я знаю, — хмыкаю я и открываю крышку проигрывателя.

— Она третья по счету на первой стороне. — Я ставлю иглу в нужное место, и вот она, словно живая, песня, засевшая в моей голове.

— Ужинать будешь? — спрашиваю я и делаю громче, он улыбается, смотрит ангелом, у которого в ресницах путается перламутр, и отвечает: «Буду», снимая с пластинки Синатры подарочную обертку.